

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Т97

Дизайн обложки Алексея Родюшкина

### **Тэффи (Лохвицкая Надежда Александровна)**

Т97    Моя летопись / Тэффи. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 384 с.: ил. — (Страницы жизни).

ISBN 978-5-17-166544-9

Надежду Лохвицкую (1872–1952), известную всем под псевдонимом Тэффи, современники называли «королевой юмора». Ею восхищались от Николая II до Ленина, а ее веселые ироничные рассказы и фельетоны с остроумными наблюдениями над жизнью и нотками грусти очень высоко ценили.

Пережив три революции, две мировые войны, оказавшись в 1920-е годы в эмиграции, она сохранила в «короткой прозе» непосредственность, легкость и умение посмеяться над обычными бытовыми ситуациями, а в свои мемуары привнесла философский характер. В русском Париже Тэффи была одним из любимых писателей. Там она создала «Воспоминания», а также очерки, на страницах которых оживают А. Куприн, А. Толстой, А. Аверченко, А. Ахматова, Н. Гумилев, С. Есенин, В. Розанов, Г. Распутин, А. Коллонтай и многие другие.

Она хотела создать из них книгу «Моя летопись», но сама не успела собрать ее.

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

---

# ВОСПОМИНАНИЯ

---

*Автор считает нужным предупредить, что в «Воспоминаниях» этих не найдет читатель ни прославленных героических фигур описываемой эпохи с их глубокой значимости фразами, ни разоблачений той или иной политической линии, ни каких-либо «освещений и умозаключений». Он найдет только простой и правдивый рассказ о невольном путешествии автора через всю Россию вместе с огромной волной таких же, как он, обывателей. И найдет он почти исключительно простых, неисторических людей, показавшихся забавными или интересными, и приключения, показавшиеся занятными, и если приходится автору говорить о себе, то это не потому, что он считает свою персону для читателя интересной, а только потому, что сам участвовал в описываемых приключениях и сам переживал впечатления и от людей, и от событий, и если вынуть из повести этот стержень, эту живую душу, то будет повесть мертва.*

**Автор**

## 1

Москва. Осень. Холод.

Мое петербургское житье-бытье ликвидировано. «Русское слово» закрыто. Перспектив никаких.

Впрочем, есть одна перспектива. Является она каждый день в виде косоглазого одессита-антрепренера Гуськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу устраивать мои литературные выступления.

Убеждал мрачно.

— Сегодня ели булку? Ну так завтра уже не будете. Все, кто может, едут на Украину. Только никто не может. А я вас везу, я вам плачу шестьдесят процентов с валового сбора, в «Лондонской» гостинице лучший номер заказан по телеграфу, на берегу моря, солнце светит, вы читаете рассказ-другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину,

вы себе сыты и сидите в кафе. Что вы теряете? Спросите обо мне — меня все знают. Мой псевдоним Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ей-богу, едем! Лучший номер в «Международной» гостинице.

— Вы говорили в «Лондонской»?

— Ну в «Лондонской». Плоха вам «Международная»?

Ходила, советовалась. Многие действительно стремились на Украину.

— Этот псевдоним Гуськин — какой-то странный.

— Чем странный? — отвечали люди опытные. — Не страннее других. Они все такие, эти мелкие антрепренеры.

Сомнения пресек Аверченко. Его, оказывается, вез в Киев другой какой-то псевдоним. Тоже на гастроли. Решили выехать вместе. Аверченкин псевдоним вез еще двух актрис, которые должны были разыгрывать скетчи.

— Ну вот видите! — ликовал Гуськин. — Теперь только похлопочите о выезде, а там все пойдет как хлеб с маслом.

Нужно сказать, что я ненавижу всякие публичные выступления. Не могу даже сама себе уяснить почему. Идиосинкразия. А тут еще псевдоним Гуськин с процентами, которые он называет «порценты». Но кругом говорили: «Счастливая — вы едете!», «Счастливая — в Киеве пирожные с кремом». И даже просто: «Счастливая... с кремом!»

Все складывалось так, что надо было ехать. И все кругом хлопотали о выезде, а если не хлопотали, не имея на успех никаких надежд, то хоть мечтали. А люди с надеждами неожиданно находили в себе украинскую кровь, нити, связи.

— У моего кума был дом в Полтаве.

— А моя фамилия, собственно говоря, не Нефедин, а Нехведин, от Хведько, малороссийского корня.

— Люблю цыбулю с салом!

— Попова уже в Киеве, Ручкины, Мельзоны, Кокины, Пупины, Фики, Шпруки. Все уже там.

Гуськин развил деятельность.

— Завтра в три часа приведу вам самого страшного комиссара с самой пограничной станции. Зверь. Только что раздел всю «Летучую мышь». Все отобрал.

— Ну уж если они мышей раздевают, так где уж нам проскочить!

— Вот я приведу его знакомиться. Вы с ним полюбезничайте, попросите, чтобы пропустил. Вечером поведу его в театр.

Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведающем делами театральными. Там очень томная дама, в прическе Клео де Мерод, густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли.

Потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди долгие, долгие часы. Наконец солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась — и вышел «сам». Кто он был — не знаю. Но был он, как говорилось, — «весь в пулеметах».

— Вы такая-то?

— Да, — призналась. (Все равно теперь уже не отречешься.)

— Писательница?

Молча киваю головой. Чувствую, что все кончено, — иначе чего же он выскочил.

— Так вот потрудитесь написать в этой тетради ваше имя. Так. Проставьте число и год.

Пишу дрожащей рукой. Забыла число. Потом забыла год. Чей-то испуганный шепот сзади подсказал.

— Та-ак! — мрачно сказал «сам». Сдвинул брови. Прочитал. И вдруг грозный рот его медленно поехал вбок в интимной улыбке: — Это мне... захотелось для автографа!

— Очень лестно!

Пропуск дан.

Гуськин развивает деятельность все сильнее. Приволок комиссара. Комиссар страшный. Не человек, а нос в сапогах. Есть животные головоногие. Он был носоногий. Огромный нос, к которому прикреплены две ноги. В одной ноге, очевидно, помещалось сердце, в другой совершалось пищеварение. На ногах сапоги желтые, шнурованные, выше колен. И видно, что комиссар волнуется этими сапогами и гордится. Вот она, ахиллесова пята. Она в этих сапогах, и змей стал готовить свое жало.

— Мне говорили, что вы любите искусство... — начинаю я издали и... вдруг сразу наивно и женственно, словно не совладав с порывом, сама себя перебила: — Ах, какие у вас чудные сапоги!

Нос покраснел и слегка разбухает.

— Мм... искусство... я люблю театры, хотя редко приходилось...

— Поразительные сапоги! В них прямо что-то рыцарское. Мне почему-то кажется, что вы вообще необыкновенный человек!

— Нет, почему же... — слабо защищается комиссар. — Положим, я с детства любил красоту и героизм... служение народу...

«Героизм и служение» — слова в моем деле опасные. Из-за служения раздели «Летучую мышь». Надо скорее базироваться на красоте.

— Ах, нет, нет, не отрицайте! Я чувствую в вас глубоко художественную натуру. Вы любите искусство, вы покровительствуете проникновению его в народные толщи. Да — в толщи, и в гущи, и в чащи. У вас замечательные сапоги. Такие сапоги носил Торквато Тассо... и то не наверное. Вы гениальны!

Последнее слово решило все. Два вечерних платья и флакон духов будут пропущены как орудия производства.

Вечером Гуськин повел комиссара в театр. Шла оперетка «Екатерина Великая», сочиненная двумя авторами — Лоло и мною.

Комиссар отмяк, расчувствовался и велел мне передать, что «искусство действительно имеет за собой» и что я могу провезти все, что мне нужно, — он будет «молчать, как рыба об лед».

Больше я комиссара не видала.

Последние московские дни прошли бестолково и сумбурно.

Из Петербурга приехала Каза-Роза, бывшая певица «Старинного театра». В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность: она знала, что у кого есть и кому что нужно.

Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила:

— В Криво-Арбатском переулке, на углу, в Суровской лавке осталось еще полтора аршина батиста; вам непременно нужно его купить.

— Да мне не нужно.

— Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уже нигде ничего не останется.

В другой раз прибежала запыхавшаяся.

— Вам нужно сейчас же сшить бархатное платье!

— ?

— Вы сами знаете, что это вам необходимо. На углу в москательной хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала, совсем свежая, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо. А такой случай уже никогда не представится.

Лицо серьезное, почти трагическое.

Ужасно не люблю слова «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я б и то, наверное, испугалась.

Покорилась Каза-Розе, купила роскошный лоскут с семью гвоздями.

Странные были эти последние дни.

По черным ночным улицам, где прохожих душили и грабили, бегали мы слушать оперетку «Сильва» или в обшарпанных кафе, набитых публикой в рваных, пахнущих мокрой псиной пальто, слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде, и даже Брюсов не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то их «эротический вечер»!

Всем хотелось быть «на людях»...

Одним, дома, было жутко.

Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге.

Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он. В Киеве? Или там, откуда не вернется?

Жили как в сказке о Змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать двенадцать девиц и двенадцать добрых молодцев. Казалось бы, как могли люди сказки этой жить на свете, когда знали, что сожрет Горыныч лучших детей их. А вот тогда, в Москве, думалось, что, наверное, и Горынычевы вассалы бегали по театрикам и покупали себе на платьишко. Везде может жить человек, и я сама видела, как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти

несколько шагов своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом.

Так и мы. Покупали какие-то «последние лоскутья», слушали в последний раз последнюю оперетку и последние изысканно-эротические стихи, скверные, хорошие — не все ли равно, — только бы не знать, не сознавать, не думать о том, что нас тащат на лед.

Из Петербурга пришла весточка: известную артистку арестовали за чтение моих рассказов. В Чека заставили ее перед грозными судьями повторить рассказ. Можете себе представить, с какой бодрой веселостью читался этот юмористический монолог между двумя конвойными со штыками. И вдруг — о, радостное чудо! — после первых же трепетных фраз лицо одного из судей расплывается в улыбку.

— Я слышал этот рассказ на вечере у товарища Ленина. Он совершенно аполитичен.

Успокоенные судьи попросили успокоенную подсудимую продолжить чтение уже «в ударном порядке развлечения».

В общем, пожалуй, все-таки хорошо было уехать хоть на месяц. Переменить климат.

А Гуськин все развивал деятельность. Больше, вероятно, от волнения, чем по необходимости. Бегал почему-то на квартиру к Аверченке.

— Понимаете, какой ужас, — потрясая руками, рассказывал он. — Прибегал сегодня в десять утра к Аверченке, а он спит как из ведра. Ведь он же на поезд опоздает!

— Да ведь мы же только через пять дней едем.

— А поезд уходит в девять. Если он сегодня так спал, так почему через неделю не спать? И вообще всю жизнь? Он будет спать, а мы будем ждать? Новое дело!

Бегал. Волновался. Торопился. Хлопал в воздухе, как ремень на холостом ходу. А кто знает, как бы сложилась моя судьба без этой его энергии. Привет вам, Гуськин-псевдоним, не знаю, где вы...

## 2

Намеченный отъезд постоянно откладывался.

То кому-нибудь задерживали пропуск, то оказывалось, что надежда наша и упование — комиссар Нос-сапогах еще не успел вернуться на свою станцию.

Мои хлопоты по отъезду уже почти закончились. Сундук был уложен. Другой сундук, в котором были сложены (последнее мое увлечение) старинные русские шали, поставлен был в квартире Лоло.

— А вдруг за это время назначат какую-нибудь неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантности и все эти вещи конфискуют?

Я попросила, в случае опасности, заявить, что сундук пролетарского происхождения, принадлежит бывшей кухарке Федосье. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением — положила сверху портрет Ленина с надписью: «Душеньке Феничке в знак приятнейших воспоминаний. Любящий Вова».

Впоследствии оказалось, что и это не помогло.

Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре. Выплывали из тумана люди, кружились и гасли в тумане, и выплывали новые. Так с берега в весенние сумерки, если смотришь на ледоход, видишь — плывет-кружится не то воз с соломой, не то хата, а на другой льдине будто волк и обугленные головешки. Покружится, повернется, и унесет его течением навсегда. Так и не разберешь, что это, собственно говоря, было.

Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса.

Из Петербурга в Казань проехал в свое имение знакомый помещик. Написал из Казани, что имение разграблено крестьянами и что он ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо: мой портрет работы художника Плейфера, повешенный в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я великомученица...

Неожиданно прибило к нашему берегу Л. Яворскую. Пришла, элегантная, как всегда, говорила о том, что мы должны сплотиться и что-то организовать. Но что именно — никто так и не понял. Ее провожал какой-то бойскаут с голыми коленками. Она его называла торжественно «мосье Соболев». Лыдина повернулась, и они уплыли в тумане...

Неожиданно появилась Миронова. Сыграла какие-то пьесы в театрике на окраине и тоже исчезла.

Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком, помог ей в деле и, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. Он никогда не видал живого писателя, обожал литературу и мечтал взглянуть на нас. Актриса, спросив нашего разрешения, привела комиссара. Это был самый огромный человек, которого я видела за свою жизнь. Откуда-то сверху гудел колоколом его голос, но гудел слова самые сентиментальные: детские стихи из хрестоматии и уверения, что до встречи с нами он жил только умом (с ударением на «у»), а теперь зажил сердцем.

Целые дни он ловил бандитов. Устроил музей преступлений и показывал нам коллекцию необычно сложных инструментов для перекусывания дверных цепочек, бесшумного выпиливания замков и перерезывания железных болтов. Показывал деловые профессионально-воровские чемоданчики, с которыми громилы идут на работу. В каждом чемоданчике были непременно потайной фонарик, закуска и флакон одеколона. Одеколон удивил меня.

— Странно — какие вдруг культурные потребности, какая изысканность, да еще в такой момент. Как им приходит в голову обтираться одеколоном, когда каждая минута дорога?

Дело объяснилось просто: одеколон этот заменял им водку, которую тогда нельзя было достать.

Половивши своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок, умилялся, удивлялся, что мы «те самые», и провожал меня домой. Жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам рядом с этим верзилкой. Кругом жуткие шорохи, крадущиеся шаги, вскрики, иногда выстрелы. Но самое страшное все-таки был этот охраняющий меня великан.

Иногда ночью звонил телефон. Это ангел-хранитель, переставший жить умом (с ударением на «у»), спрашивал, все ли у нас благополучно.

Перепуганные звонком, успокаивались и декламировали:

Летают сны-мучители  
Над грешными людьми,  
И ангелы-хранители  
Беседуют с детьми.

Ангел-хранитель не бросил нас до самого нашего отъезда, проводил на вокзал и охранил наш багаж, который очень интересовал вокзальных чекистов.

У всех нас, отъезжающих, было много печали — и общей всем нам, и у каждого своей, отдельной. Где-то глубоко за зрачками глаз чуть светился знак этой печали, как кости и череп на фуражке «гусаров смерти». Но никто не говорил об этой печали.

Помню нежный силуэт молодой арфистки, которую потом, месяца через три, предали и расстреляли. Помню свою печаль о молодом друге Лёне Каннегиссере. За несколько дней до убийства Урицкого он, узнав, что я приехала в Петербург, позвонил мне по телефону и сказал, что очень хочет видеть меня, но где-нибудь на нейтральной почве.

— Почему же не у меня?

— Я тогда и объясню почему.

Условились пообедать у общих знакомых.

— Я не хочу наводить на вашу квартиру тех, которые за мной следят, — объяснил Каннегиссер, когда мы встретились.

Я тогда сочла слова мальчишеской позой. В те времена многие из нашей молодежи принимали таинственный вид и говорили загадочные фразы.

Я поблагодарила и ни о чем не расспрашивала.

Он был очень грустный в этот вечер и какой-то притихший.

Ах, как часто вспоминаем мы *потом*, что у друга нашего были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И *потом* мы всегда знаем, что надо было сделать *тогда*, как взять друга за руку и отвести от черной тени. Но есть какой-то тайный закон, который не позволяет нам нарушить, перебить указанный нам темп. И это отнюдь не эгоизм и не равнодушие, потому что иногда легче было бы остановиться, чем пройти мимо. Так, по плану трагического

романа «Жизнь Каннегиссера» великому Автору его нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо. Как во сне — вижу, чувствую, почти знаю, но остановиться не могу...

Вот так и мы, писатели, по выражению одного из современных французских литераторов, «подражатели Бога» в Его творческой работе, мы создаем миры и людей и определяем их судьбы, порой несправедливые и жестокие. Почему поступаем так, а не иначе — не знаем. И иначе поступить не можем.

Помню, раз на репетиции одной из моих пьес подошла ко мне молоденькая актриса и сказала робко:

— Можно у вас спросить? Вы не рассердитесь?

— Можно. Не рассержусь.

— Зачем вы сделали так, что этого бестолкового мальчишку в вашей пьесе выгоняют со службы? Зачем вы такая злая? Отчего вы не захотели ну хоть приискать для него другое место? А еще в одной вашей пьесе бедный коммивояжер остался в дураках. Ведь ему же это неприятно. Зачем же так делать? Неужели вы не можете все это как-нибудь поправить? Почему?

— Не знаю... Не могу... Это не от меня зависит...

Но она так жалобно просила меня, и губы у нее так дрожали, и такая она была трогательная, что я обещала написать отдельную сказку, в которой соединю всех мною обиженных и в рассказах, и в пьесах и вознагражу всех.

— Чудесно! — сказала актриса. — Вот это будет рай!

И она поцеловала меня.

— Но боюсь одного, — остановила я ее. — Боюсь, что наш рай никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его выдумали, и не поверят нам...

Ну вот — утром едем на вокзал.

Гуськин с вечера бегал от меня к Аверченке, от Аверченки к его импресарию, от импресарию к артистам, лез по ошибке в чужие квартиры, звонил не в те телефоны и в семь часов утра влетел ко мне запаренный, хрипящий, как опоенная лошадь. Взглянул и безнадежно махнул рукой.

— Ну конечно. Новое дело. Опоздал на вокзал!

— Быть не может! Который же час?

— Семь часов, десятый. Поезд в десять. Все кончено. Гуськину дали кусок сахара, и он понемногу успокоился, грызя это попугайное угощение.

Внизу загудел присланный ангелом-хранителем автомобиль.

Чудесное осеннее утро. Незабываемое. Голубое, с золотыми куполами — там, наверху. Внизу — серое, тяжелое, с остановившимися в глубокой тоске глазами. Красноармейцы гонят группу арестованных... Высокий старик в брововой шапке несет узелок в бабьем кумачовом платочке... Старая дама в солдатской шинели смотрит на нас через бирюзовый лорнет... Очередь у молочной лавки, в окне которой выставлены сапоги...

«Прощай, Москва, милая. Ненадолго. Всего на месяц. Через месяц вернусь. Через месяц. А что потом будет, об этом думать нельзя».

— Когда идешь по канату, — рассказывал мне один акробат, — никогда не следует думать, что можешь упасть. Наоборот. Нужно верить, что все удастся, и непременно напевать.

Веселый мотив из «Сильвы» со словами потрясающего идиотизма звенит в ушах:

Любовь-злодейка,  
Любовь-индейка,  
Любовь из всех мужчин  
Наделала слепых...

Какая лошадь сочинила это либретто?..

У дверей вокзала ждет Гуськин и гигант-комиссар, переставший жить умом (с ударением на «у»).

«Москва, милая, прощай. Через месяц увидимся».

С тех пор прошло десять лет...

### 3

Началось наше путешествие довольно гладко.

Ехали в вагоне второго класса, каждый на своем месте, не под скамейкой и не в сетке для багажа, а как вообще пассажирам сидеть полагается.

Антрепренер мой, псевдоним Гуськин, волновался — почему поезд долго не отходит, а когда отошел — стал уверять, что отошел преждевременно.

— И это недобрый знак! Еще увидите, что будет.

Вид у Гуськина, как только он влез в вагон, мгновенно и странно изменился. Казалось, будто он путешествует дней десять и вдобавок при самых зверских условиях: башмаки у него расшнуровались, воротничок отстегнулся и обнаружил под кадыком круглый зеленый знак от медной запонки. И что совсем уж странно — щеки покрылись щетиной, будто он дня четыре отпускает бороду.

Кроме нашей группы сидели в том же отделении три дамы. Разговоры велись то вполголоса, а то и совсем шепотом на тему, близкую переживаемому моменту: как кто словчился перевезти за границу бриллианты и деньги.

— Слыхали? Прокины все свое состояние перевезли. Накрутили на бабушку.

— А почему же бабушку не осматривали?

— Ох, и что вы! Она такая неприятная. Ну кто же решится!..

— А Коркины как ловко придумали. И всё экспромтом! Мадам Коркина, уже обшаренная, стоит в стороне, и вдруг — «ах, ах!» — нога у нее подвернулась. Не может шага сделать. А муж, еще не обшаренный, говорит красноармейцу: «Передайте ей, пожалуйста, мою палку, пусть подпрется». Тот передал. А палка-то у них долбленая и набита бриллиантами. Ловко?

— У Булкиных чайник с двойным дном.

— Фаничка провезла большущий бриллиант, так вы не поверите — в собственном носу.

— Ну, ей хорошо, когда у нее нос на пятьдесят карат. Не всякому такое счастье.

Потом рассказывали трагическую историю, как какая-то мадам Фук спрятала очень хитро бриллиант в яйцо. Сделала маленькую дырочку в скорлупе сырого яйца, засунула бриллиант, а потом яйцо сварила вкрутую. Пойди-ка найди. Положила яйцо в корзинку с провизией и спокойно сидит, улыбается. Входят в вагон красноармейцы. Осматривают багаж. Вдруг один солдат схватил это самое яйцо, облупил и тут же, на глазах мадам Фук, слопал. Несчастливая женщина так дальше и не поехала. Вылезла на станции, три дня

ходила за этим паршивым красноармейцем, как за малым ребенком, глаз с него не спускала.

— Ну и что же?

— Э, где там! Так ни с чем и домой вернулась.

Стали вспоминать о разных хитростях, о том, как во время войны ловили шпионов.

— До того эти шпионы нахитрились! Подумайте только: стали у себя на спине зарисовывать планы крепостей, а потом сверху закрашивать. Ну, военная разведка тоже не глупая — живо догадалась. Стали всем подозрительным субъектам спины мыть. Конечно, случались досадные ошибки. У нас в Гродно поймали одного господина. На вид — прямо подозрительный брюнет. А как вымыли его, оказался блондин и честнейший малый. Разведка очень извинялась...

Под эту мирную беседу на жуткие темы ехать было приятно и удобно, но не проехали мы и трех часов, как вдруг поезд остановился и велели всем высаживаться. Вылезли, выволокли багаж, простояли на платформе часа два и влезли в другой поезд, весь третьеклассный, набитый до отказа. Против нас оказались злющие белоглазые бабы. Мы им не понравились.

— Едут, — сказала про нас рябая с бородавкой. — Едут, а чего едут и зачем едут, и сами не знают.

— Что с цепи сорвавши, — согласилась с ней другая в замызганном платке, кончиками которого она элегантно вытирала свой утиный нос.

Больше всего раздражала их китайская собачка пекинуа, крошечный шелковый комочек, которую везла на руках старшая из наших актрис.

— Ишь, собаку везет! Сама в шляпке и собаку везет.

— Оставила бы дома. Людям сесть некуды, а она собачищу везет!

— Она же вам не мешает, — дрожащим голосом вступилась актриса за свою «собачищу». — Все равно бы я вас к себе на колени не посадила.

— Небось мы собак с собой не возим, — не унимались бабы.

— Ее одну дома оставлять нельзя. Она нежная. За ней ухода больше, чем за ребенком.

— Чаво-о?

— Ой, да что же это? — вдруг окончательно взбеленилась рябая и даже с места вскочила. — Эй! Послушайте-ка, что тут говорят-то. Вон энта в шляпке говорит, что наши дети хуже собак! Да неужто мы это сносить должны?

— Кто-о? Мы-ы? Мы собаки, а она нет? — зароптали злобные голоса.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы дикий визг не прервал этой интересной беседы. Визжал кто-то на площадке. Все сорвались с мест, кинулись узнавать. Рябая сунулась туда же и, вернувшись, очень дружески рассказывала нам, как там поймали вора и собрались его «под вагон спускать», да тот на ходу спрыгнул.

— Жуткие типики, — сказал Аверченко. — Старайтесь не обращать ни на что внимания. Думайте о чем-нибудь веселом.

Думаю. Вот сегодня вечером зажгутся в театре огни, соберутся люди, рассядутся по местам и станут слушать:

Любовь-злодейка,  
Любовь-индейка,  
Любовь из всех мужчин  
Наделала слепых...

И зачем я только вспомнила! Опять привязался этот идиотский куплет! Как болезнь!

Кругом бабы весело гуторят, как бы хорошо было вора под колеса спустить и что он теперь не иначе как с проломленной головой лежит.

— Самосудом их всех надо! Глаза выколоть, язык вырвать, уши отрезать, а потом камень на шею да в воду!

— У нас в деревне подо льдом проволакивали на веревке из одной проруби да в другую...

— Жгут их тоже много...

О, интересно, — что бы они с нами сделали за собачку, если бы история с вором не перебила настроения.

Любовь-злодейка,  
Любовь-индейка...

— Какой ужас! — говорю я Аверченке.

— Тише... — останавливает он.